

**МОЙ ПРИЕЗД** в Овсянку совпал с печальным для Астафьевых днем — третьей годовщины смерти их дочери Ирины. За поминальным столом собралась многочисленная уже родня, близкие. По православному обычаю священник, отец Нифонт, и группа хора Покровской церкви, приехавшие по этому случаю из Красноярска, отслужили молебен на новом, но уже разросшемся кладбище километрах в пяти от деревни. На обратном пути в город мы высадились с Виктором Петровичем у железнодорожного переезда и не спеша поехали к дому. В ушах еще звучало церковное пение. Скорбь сердца сливалась с грустью зарождающейся осени, с печалью прощания с теплом уходящего лета, с еще одним безвозвратно пройденным кругом жизни... Но — странное дело: хотелось длить это настроение. В скорби этой было что-то очищающее и успокаивающее, она чудодейственным образом воскрешала веру в жизнь, в ее бесконечность, в бессмертие всего сущего на земле. И мне пришли на ум слова рядом идущего человека, слова, которые поддержали меня в трудные дни: «Жизнь, лишённая мысли, стремления «мыслить и страдать» и, страдая, открывать, пусть в зрелом возрасте, такие вроде бы рядом лежащие, будничные, но наполненные высочайшим смыслом истины: «Всё и все, кого любим мы, есть наша мука», — жизнь пустая, жвачная». Но все-таки не слишком ли много муки, страданий выпало на долю самого писателя?.. Минувший выросший в землю, почерневший от времени дом бабушки Виктора Петровича — здесь давно живут чужие люди, и, вернувшись в Овсянку десять лет назад, он купил дом напротив, — мы входим во двор и садимся на скамейку под яблоней, сплошь усыпанной райскими яблочками. И тишина тоже райская. Но я решаюсь нарушить ее...

— Виктор Петрович, на вашу долю выпала нелегкая судьба — сиротство, детдом, фронт, который вы прошли солдатом, ранения, болезни, тяжкие утраты. О трудности вашего писательского пути я не говорю — он у всех на виду... О чем самом выстраданном вам хотелось бы сказать людям?

— Я сказал бы прежде всего о ценности жизни. Об этой бескорыстно дарованной нам всем радости, о единственной награде Божьей. И ею надо дорожить. А мы над собой самосуд устраиваем. У нас только старики умирают своей смертью. Еще не старые мужчины погибают, часто по своей вине, избивают себя молодежь. Смерть как будто нас ищет. Или мы — ее. Она как проклятье за наше братоубийство, кровопролития, насилия — за все. Вот в нашей деревне люди могли расстреливать по решению собрания... Сказал бы о необходимости милосердия и братства. Ведь добро существует для того, чтобы легче было жить людям, мы же ему придираемся пудовые кулаки, да все с лучшими намерениями. А нужно просто — без лишних слов, без болтовни помогать ближнему своему и приучать к этому с малолетства детей. Мы так долго бежали, все время ощущая грозную погоню с нацеленным в спину ружьем, что надо нам наконец остановить наш слепой бег, захватить свои гибельные машины, уничтожить оружие, количество которого давно превзошло всякие разумные пределы. Пора подумать: почему мы живем и работаем во зло себе? На что мы тратим свою жизнь, расходуем свой разум и силы? Для делания добра не требуется ни борьбы, ни войны.

— Помню, своего «Пастуха и пастушку» вы называли повестью пацифистской: человек рожден не для войны. Какую роль сегодня вы, писатель и бывший фронтвик, отводите книгам о войне — и в первые изданиях, и переизданных, как, например, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, и тем, которые, возможно, еще пишутся? Ведь война, помимо прочего, заключает в себе огромный общечеловеческий опыт.

— Все написанное мной — антивоенное. Зачем нам иностранное слово? Воспоминания о войне, наверное, никогда не покинут того, кто ее прошел. Но если он возьмется писать о войне и если он честный художник — он обязательно будет писать против войны. Василь Быков, Вячеслав Кондратьев, Константин Воробьев, которого, наконец-то, начали печатать целиком... Их книги прочитаешь — и тебе не захочется воевать. Она отвратительная, война. Страшная. Надо и писать ее отвратительной и страшной, а не лозунгово-героической.

«В окопах Сталинграда» я читал и очень почитательно отношусь к этой книге и к Виктору Некрасову. В то время, помню, были опубликованы «Дни и ночи» Симонова, повесть Л. Пантелеева «Гвардия рядовой», «Звезда» Э. Казакевича, что-то еще. Но, конечно, «В окопах Сталинграда» означала какой-то

рубеж. Правда, в «Окопах» та самая военная романтика еще присутствует, но тем не менее книга эта замечательная, на нее в то время ориентировались, но и крылы ее здорово те, кому правда не по нутру. Честная книга — против войны. И — настоящая литература. Хорошо, что «Книжная палата» и «Художественная литература» переиздали эту повесть.

Однако, думаю, настало время писать о войне по-другому. Сегодня, когда существует довольно большая мировая литература о войне, дающая о ней представление как о кровавой бойне, перед художником стоит задача написать свою войну. Сейчас писатель, я так понимаю, должен больше осмысливать происходившее. Вникать в него. Размышлять вслух. Беседовать с глазу на глаз с читателем. Изображение батальных сцен, сплошного действия не годится.

— Роман, над которым вы работаете, — о «своей войне»?

*Мит. 2025.0. — 1990. — 26 сент. (239) — с. 4.*

# «Созидать милосердие и братство...»

В гостях у Виктора АСТАФЬЕВА

— Да. А скорее — о жизни вообще. Вчерне закончена лишь первая его часть, а потому не хочется ничего предварять. Скажу только, что роман этот имеет форму сна. Жизнь каждого человека, а героев там много, описывается с момента рождения и до смерти. Здесь фронтовики, знакомые мне люди, земляки мои, а также житейские истории, рассказанные мне. Судьбы такие, что не выдумаешь... Пишу «Затеси», третью часть «Последнего поклона». Воспоминания о детстве давно ушли дальше, вместе с жизнью движется и моя Заветная книга — так, видимо, будет до конца дней. Жизнь неисчерпаема.

— Значит ли это, что и литература, искусство — тоже категории вечные?

— Конечно. Пока существует человек, пока он не выродился в дебила, в нем всегда будет жить творец, будет жить сочинитель. Издавна существует огромный пласт блистательной устной литературы. Это действовал крестьянин, мужик, неграмотный, полуграмотный, а то и грамотный — почти в каждом сочинитель сидел. Наша земля испокон веков была славна творцами. Замечательные сказки народные, песни, частушки, просто истории дорожные, вагонные — все это действует сочинитель. Он вечен. Сочинитель, как на Русь принято было именовать и писателя, не умрет никогда. Пока существует письменность, пока, повторяю, все дебилами не станут. Были, конечно, и не раз, такие периоды в культуре, литературе, когда, казалось, человечество зашло в тупик...

— Безвременье.

— Да, безвременье. Но безвременье — тоже время, и в истории нашей культуры оно заполнялось, в общем-то, приличной литературой. Взять ту самую, по определению В. Курбатова, «блистательную провинцию». Мельников-Печерский, Помяловский, Курочкин, Боборыкин, о котором принято почему-то говорить с иронией. К второстепенным были отнесены Мамин-Сибиряк и Короленко, но последний сегодня воскресает помяленьку. Тогда же писали Глеб и Николай Успенские, Горбунов... Такое вот «безвременье». Поэты, которые сейчас уже в гениях ходили бы.

Вообще в безвременье, это тоже мое субъективное мнение, вперед выходит поэзия. Вот сейчас, говорят,

глушь в литературе, но уровень поэзии высок: Мария Аввакумова, Юрий Кузнецов, Василий Казанцев, Геннадий Русаков... Заявляют о себе совсем молодые.

Когда мы составляли с Романом Солнцевым поэтический сборник «Час России», мы брали лишь по одному стихотворению и только у современных провинциальных поэтов. Мы отобрали 360 стихотворений, и со всей ответственностью заявляю, что пятьдесят из них достойны войти в хрестоматию русской литературы. Ни много, ни мало. Их надо заучивать наизусть. Это — истинная поэзия, не ширпотреб. А то я заглянул тут как то в букварь — там только два раза встречается Пушкин, а так все — Барто, Маршак, Михалков... Конечно, они ближе современному ребенку, но нельзя же учебники только из них составлять! Автор «Дяди Степы» сейчас загорюндил и Пушкина, и Колотушкина. Школьника не причаюют к поэ-

и потому, что обнаружилась ее правота. Проза эта, как ни громко звучит, бессмертна... Вот здесь, где мы сидим, течет Енисей. Он течет строго на Север, река эта прямая очень. И навстречу ему — Мана, тоже не очень извилистая, между ними хребет, поворот она делает неподалеку и впадает в Енисей. Места красивые — словами невозможно описать! В тридцатых годах по Мане начался сплав леса. А нынче первый год, как сплав этот удалось остановить. Как мы останавили сплав на замордованной реке — отдельный рассказ... И вот увидел я без сплава, без леса, незагорюшную реку, и она мне показалась такой растерянной! Значит, когда она была завалена лесом, в торопях вся, казалось мне, что Мана нормальная; я привык с детства видеть ее такой. А когда нынче посмотрел на нее с горы — она вся какая-то пустая, полая. Отдыхает река. Как рожица. И это вовсе не значит, что она иссяк-

Но, конечно же, всех нас беспокоит наша литература, а она действительно, если говорить о так называемом потоке, удручающая. Я вот рукописей много читаю — вороха! — а за три года если и рекомендовал для печати, то рукописи три. Среди опубликованного есть, однако, прекрасные вещи. Открыл для себя Л. Бородин. С великим удовольствием читаю Георгия Владимова, я вообще его высоко ценю, читаю Владимира Максимова...

— Вы не отделяете русское зарубежье от литературы отечественной?

— Нет. Это единая русская литература. Все мы пишем на одном языке. Чувства — те же. Жизненный материал — наш. Герцен писал, живя в Англии, Тургенев и Бунин — во Франции. Никогда и никому не приходило в голову относить их к литературе «по месту жительства». Почему же мы должны наших современников отделять? Тем более что советская власть соизволила вернуть им гражданство. Это только символ! Да они всегда оставались нашими гражданами, они сами об этом говорят. Такое уж наше русское уродство, ну, особенность, если помягче, не можем мы себя чувствовать гражданами какой-то другой страны. Проза В. Некрасова, Г. Владимова, В. Максимова, тех же В. Аксенова и В. Войновича, хотя лично я к поклонникам последних двух не отношусь, — не французская, не немецкая, не американская, а наша. И главный читатель их здесь.

— А вообще как, по вашим наблюдениям, относятся к нашей литературе за рубежом?

Ее там плохо знают. Американский профессор, о котором я уже упоминал, преподает русскую литературу студентам, и он мне показывал свою программу. Достоевский, Пушкин, Толстой... Достоевский — на первом месте. Там еще кто-то... Чехов обязательно. А из русских современных — по сути, один Солженицын. Ведь это же очень мало, говорю, это кучее представление о нашей литературе! Стал называть имена и вижу многие из них профессору внове. В Америке, мне рассказывали, можно зайти в роскошный дом, где все кипит, все варится, техника хитроумной полно, да вся исправная. А книг нет. Ну десяток, случайно купленных... У нас все-таки по-другому: нередко квартира тесная, обстановку бедная, а библиотека — богатая... Вообще же в Америке немало полезного и поучительного, она не подавила меня, я вернулся оттуда с огромным желанием работать.

— Виктор Петрович, в свое время вы сказали, что все мы вышли из «Матренина двора». Помните, вам дорого обходилось это признание. Да и могло ли тогда быть иначе? Что для вас сегодня значит это имя — Александр Солженицын?

— И тогда, и сейчас относился и отношусь к этому писателю с большим благоговением. Слава Богу, я не запял себя ни единым словом, ни единой строчкой по отношению к нему. Господь меня сохранил как-то от этих дурных поступков... видимо, других я уже совершил много, «добавлять не нужно было». «Архипелаг ГУЛАГ» читал давно, еще на Вологодчине. Полтора месяца читал, так что теперь уж и перечитывать не надо... Это, конечно, большой художник, и берло, на ходу о нем не скажешь. Но если все же попытаться определить главное для меня у Солженицына — это религия в его творчестве. Религия на него оказала огромное влияние, быть может, она ему и жизнь спасла. Она движет его естеством, сознанием и духом. И через его произведения неведомыми путями — нашим сознанием и духом. В этом его сила. Мы ведь все упавшие духом сейчас. Часто в депрессии пребываем. Да и как избжишь ее, когда посмотришь вокруг, послушаешь... Я потому и в деревню забрался, в огороде копаюсь. Танет к одиночеству. И по телевизору я уже тягуче переносю как вождей, так и литераторов, и даже передачи, которые любил раньше, такие, как «Слово». Неохотно смотрю. Ни в чем не уверен — ни в завтрашнем дне, ни в себе, ни в книгах своих. Попал с суконым рылом в калашный ряд... А Солженицына читаешь — и укрепляется вера в то, что жизнь — великая ценность и что она, жизнь, продолжаться будет. Мысль продолжаться будет и твои книги будут способствовать этому. Почему сейчас в церковь такое стремление? Религиозность поддерживает спокойствие духа. Церковь — единственное место сегодня, где человека могут выслушать. Там — «сын мой» и «дочь моя», как бы-



ла... Так и мысль: всегда работает, но бывает, устало, укороченно, лениво. Даже в простое находится все правильно. Об этом, может, как раз и нужно говорить... А то, что у вас в газете появилась статья, приговаривающая «деревенскую литературу» к концу, — это, думаю, просто способ ее автору самовыразиться. За это осуждать нельзя. Каждый самовыражается, как может: один сочинит матерщинную частушку, другой — вот такую статью. Чтобы прославиться к тому же. Во всяком случае я этой фамилии никогда не слышал, а теперь, когда услышу, подумаю: а, это тот Виктор Ерофеев, который по живым поминкам справлял. А вообще, это частая продукция, продукция, так сказать, литератора-кооператора. И не хотелось бы критику возражать, тем более что я считаю, что не во всем он не прав, но уж слишком много в статье снобистского презрения. И вообще она производит странное впечатление: то ли это лекция, то ли фрагмент какой-то большой работы. Я поставил бы энграмму к ней слова модной песенки: «Мои мысли — мои скакуны». Уж очень автор скачет от одного к другому, уж больно спешит с выводами. А современную литературу, имею в виду только «деревенскую», чувствуется, знает плохо, не любит. Что ж, как говорится, его право. Но зачем же тогда с такой категоричностью выносить смертный приговор целому направлению нашей культуры?

Я не специалист по истории зарубежной культуры, но если обратиться к ней: приговаривали к концу испанскую, итальянскую, фламандскую культуру, искусство, а они существуют. Конечно, уровень, бывает, падает до критической отметки, но и взлеты наблюдаются. Это все естественно, это как раз и есть жизнь. Что касается литературы, сейчас, на мой взгляд, первенствует Латинская Америка. На почве древнейшей культуры там возросло несколько величайших писателей. Достаточно назвать Маркеса. А вот европейские писатели, такое впечатление, на сегодня выдохли, как говорится, свою корову. У них вроде тоже затишье. Почему бы В. Ерофееву не написать, к примеру, о французской литературе? По моему, она сегодня здорово недоотягивает до уровня девятнадцатого — начала двадцатого века, когда что ни писатель французский — то мировая величина.